

*Возле самого зенита,
Неподвижна, как луна,
Легким облаком прикрыта,
Тень бессмертия видна.*
Леонид Латынин

Мы казались веку анахронизмом. Но век кончился, а мы остаемся (в том, что написано – уж точно, но и не только). Век сам оказался анахронизмом, более того, его, возможно, вовсе не было. Впрочем, с нами ли с первыми такое приключилось? Нет даже обломков той как-бы-культуры, к которой нас так или иначе причисляли. Так что наши имена писать не на чем. Разве что на обложках?

Слава Богу, нынче имена пишут именно на них, и никто из нас на большее претендовать не вправе. Символами ушедшего века оказались писатели, у которых даже могил нет, чтобы на них цветы положить. Ни у Мандельштама, ни у Цветаевой, ни у Сигизмунда Кржижановского, ни у Нины Берберовой. Причины исчезновения могил у всех разные, итог одинаковый: на книжную полку цветов никто не кладет. На нее книги ставят, а если эти книги читаются – какая ж это могила, какая Смерть? «Ад, где твое жало?..» Впрочем, вот цитата из *почти* современника:

«Всякий ищет свое, — думал я. — Собака кость с остатками мяса, мать удачи для сына, сын — славы. Безумная женщина, не замечая любви мужа, стремится к другой любви. А чего ищущая? Ничего. Я люблю только точно *писать* жизнь, как пишет ее художник-реалист. Я хотел бы, чтобы мой потомок, удаленный от меня бесконечно, прочитав написанное мною, подумал: «А ведь он дышал и чувствовал совсем так же, как дышу и чувствую я. Мы — одно!» И подумал бы обо мне, как о друге, как о брате. Но, Боже мой, чего же, в конце концов, я хочу? Не больше, не меньше, как бессмертия!» Это слова, которыми кончается рассказ дальневосточного классика Арсения Несмелова (1889-1945) «Ночь в чужом доме»: напечатан был рассказ в Харбине в августе 1945 года, через две недели город оккупировали советские войска, Несмелов, колчаковский белый офицер, был арестован и вывезен в СССР, где скоро умер в пересыльной тюрьме в Гродекове близ Владивостока. Случайно ли такие слова оказываются в жизни человека последними? Кстати, у Несмелова тоже ведь нет могилы. Но есть собрание сочинений. Только слова и остаются: самая бесплотная часть человека, которую удобнее называть душой. Вот вам и доказательство ее бессмертия.

В советской литературе почти любой талантливый человек попадал на положение маргинала. А когда кончилось все советское, оглянулись читатели и с удивлением обнаружили, что маргиналов тех стоит в истории... целая магистраль. Критик и литературовед Владимир Турбин испытывал ужас от того, что именем Велимира Хлебникова где-то назовут улицу. Наверное, столь же дико прозвучала бы «улица Георгия Иванова». Но виртуально, «в духе» эти улицы есть, и поэты встречаются на их

перекрестках. Больше того, даже самому поэтом быть не надо, чтобы на такой перекресток выйти – но уж там с поэтом точно повстречаешься. Мне такая встреча выпала: составляя бесконечные антологии, я читал стихи тех, чьи имена для меня долгое время были *всего лишь* именами. Вот так я и встретился с Леонидом Латыниным. Сперва меня пленило сходство каких-то его интонаций с тем самым Георгием Ивановым, который у меня все никак не мог выйти даже скудным однотомником (чуть позже вышел роскошным трехтомником, но это как-то само получилось). Потом показалось, что сходство у них довольно-таки внешнее. Впрочем, после того как прочитались две-три сотни латынинских стихотворений, сходство явилось снова, но как раз глубинное. То самое, где на уровне слов-символов не просто «шумит чепуха мировая, / Ударяясь в гранит мировой», а где «кончилась любовь бессмыслицей войны», и где не сразу разберешь, что первая цитата из Иванова, а вторая – из Латынина. Впрочем, когда разберешь, это как раз и перестанет для тебя быть важно. Ибо некая *единая* поэзия важнее частных: в искусстве прогресса нет, а кто сомневается, пусть перечитает Катулла.

Прогресса нет, но хамство бывает. Перечитывая стихи Латынина и его прозу, я захотел поглядеть – что пишут о нем составители поэтических антологий, избыточно многочисленных на исходе века. Не считая, понятно, тома «Строфы века», который составил Евгений Евтушенко, а я был научным редактором этой книги: с тем, что написал Евтушенко в 1993 году о том, что в стихах Латынина – «та же самая самоуглубленность, может быть, препятствующая распознаванию», – я как с этим был не согласен, так не согласен теперь, для меня эти стихи – образец той самой неслыханной простоты, которая вовсе не ересь и в которую дай-то Бог власть каждому. Так вот, ждал меня некий шок: в большинстве просмотренных мною антологий Латынина *нет* *вовсе*. Поспрашивал составителей: что, не понравилось им, или кто-то поругался с кем-то?.. И по меньшей мере трижды получил я один и тот же ответ: «Ну, всех включить нельзя». Это хамство, конечно. Но это и судьба маргинала, который, как говорил Сигизмунд Кржижановский (о себе), живет в таком отдаленном будущем, что ему самому оно кажется далеким прошлым.

Хоть и есть попытки извлечь из прошлого не культуру, но *масс-культуру*, но ничего хорошего из них не выходит. Сколько ни напрудили мегабайт за своими компьютерами нынешние литературоведы о том, что маркиз де Сад хороший писатель – читать его все одно невозможно, и временно вынутый из забвения он снова и снова будет в него возвращаться, а в памяти только и останется, что прозвище «секс-дедуля» да важный факт, что был маркиз прямым потомком той самой Лауры, которой сонеты писал Франческо Петрарка. И роскошный, юбилейный, сороковой номер эстетского журнала «НЛО», с гордым грифом «БУЛГАРИНСКИЙ НОМЕР», не перевесит ни одной пушкинской эпиграммы, – даже и не пушкинской, а чьей угодно, да еще того факта, что читать быстрого разумом Фаддея скучно до невозможности. Зато вдруг оказывается, что отец двоих декабристов Михаил Муравьев – поэт чуть ли не первого ряда в русском XVIII веке: а ведь в прославленной антологии Николая Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах» (1888, издание третье, исправленное и дополненное) никакого Муравьева вовсе не было. И думал ли кто, что тот же самый XVIII век окажется для Англии прежде

всего эпохой Кристофера Смарта, душевнобольного поэта, жившего в Бедламе, – нечего и говорить, что для него места в антологиях тоже почти два столетия не находилось. Водоворот времен перевешивает вывески не хуже андерсеновской бури, и Набоковский Кончеев, сокрушавшийся, что нет славы. а есть «провинциальный успех» в эмиграции, и добавлявший: «В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж очень много времени пройдет...», лукавил: он отлично знал, какое огромное место займет его поэзия в грядущей России. Я не Набоков, а Латынин не Ходасевич, но воображаемая наша беседа явно имеет место.

Строки и строфы Латынина иногда приходят на ум, привязываются и бормочутся сами по себе, в отрыве не только от автора, но и от контекста. Притом из разных стихотворений порой проговаривается несколько отдельных строк, складывающихся во вполне законченное целое. Ритмически автор предельно скуп, и его любимый четырехстопный хорей неизменно звучит в ре-миноре: это не ре-минор токкаты Баха, но и не похоронный марш Шопена, это его собственный ре-минор, быть может, только и родственник такому же хорею Георгия Иванова: «...Что никто нам не поможет, / И не надо помогать». И наговаривается: «Не бросай меня в начале / Жизни, света и печали...», – «Будет только шум рассвета, / Месяц май, начало лета...», – «Незатейливая глина, / Жизни здешней половина...», – двустихия из стихотворений, разделенных десятилетиями, слагаются в какое-то новое целое, неожиданное живое, трепетное и узнаваемое. Это очень редкое свойство (кто хочет – пусть пройдетя по русской поэзии и меня проверит), не плохое и не хорошее само по себе, а просто *качество*, присущее *стихии*, и потому не нуждающееся в оценке.

Подобных особенностей у поэзии Латынина много, а у его прозы еще больше, и они слагаются в некое весьма сложное целое, почти не поддающееся характеристике на вербальном уровне. Прямая апелляция к чувствам помимо слов, пресловутое «суггестивное лирическое начало» бьется в этих стихах естественно, как пульс, притом практически никак не продолжая линию отца-основателя русской суггестивной лирики, Афанасия Фета, – да и слава Богу, у Фета продолжателей и так хватает. Обмолвился недавно один довольно серьезный философ, что русский язык дан русской литературе «на вырост», оттого и не приживается в нем верлибр, что нет пока нужды отказываться от ритмики и рифмы. Ведь и впрямь не приживается! Блистательные образцы верлибра на страницах тысячестраничных антологий оно служат доказательством то ли грустного, то ли забавного, но в любом случае неоспоримого факта: ни единого русского поэта-верлибриста среди великих русских поэтов нет. Есть отдельные верлибры у великих поэтов, и есть средние верлибристы. Только и всего... А рифму, особенно же ритм и аллитерацию русский язык еще только-только освоил.

Верлибры (или что-то на них похожее) у Латынина тоже есть, но из них прямая дорога не в священное ночное бормотание, именуемое стихами, а в прозу, которую он успешно и пишет. Оставляя в стороне вопрос о масштабах дарования того или иного прозаика, скажу, что любой часто перечитываемый прозаик рано или поздно начинает в моем сознании распадаться на отдельные слова и звуки, после чего искусство исчезает – и происходит это со «Страшной мезью» точно так же, как с «Хазарским словарем». Единственная разница между стихами и прозой (по крайней мере – для меня, а другой

точки отсчета у меня нет) та, что «одну молитву чудную» слишком часто наизусть твердить нельзя: она или перестанет быть чудной молитвой, или... да, вот именно: обнаружит свою поэтическую природу, как происходит это, прости Господи, со словами Спасителя в Нагорной проповеди, и не так уж еретичны нынешние переводчики Библии, которые считают «Отче наш» – стихотворением. Проза Латынина в этом смысле – безусловно то, что называется «прозой поэта», и тут Георгий Иванов его ближайший родственник, ведь и «Петербургские зимы» при внимательном прочтении обнаруживают свою поэтическую природу, начиная от зачинов и рефренов и кончая чисто поэтической метафоричностью. Но на прозу самого Латынина псевдо-проза Георгия Иванова повлияла очень мало. *Кто именно повлиял* – увидит любой читатель на пятой ли, на десятой странице, и так же, как я, не захочет поминать всеу то родство, которого сторониться автор не волен и от которого не отчуждаешься самими скучными, в стиле Жака Деррида, декларациями. К счастью, Латынин ни одной такой декларации не сочинил и, Бог даст, не сочинит.

Впрочем, его Гриммер был счастлив лишь тем, что успел получить имя. Имена своим героям Латынин дает редко и предельно продуманно, поэтому буквально каскад бесконечного родословия на страницах «Спящего во время жатвы» оставляет читателя поначалу в некотором ужасе. Но лишь до тех пор, пока за именами не проступит их *заклинательная* природа, кстати, точно отмеченная французским славистом Жоржем Нива.

Какая же это проза: «И Ставр взял нож, что лежал на столе возле кровати коричневой, как шоколад фабрики Ротфронт, еще в невысохшей крови и Моисея, и Исаака, и Седекии...». Если уж искать прозу, то она такая: «В зрелые годы мириться легко, что не всегда на столе молоко...». Между тем первая фраза – цитата из романа Латынина «Ставр и Сара», вторая – из стихотворения «Долг». О прозе Латынина, к слову сказать, написано довольно много и нередко с пониманием оной. Но с постоянной оговоркой, что «борщ отдельно, мухи отдельно» – проза там, стихи сям. Я же, давно и прочно уверовав, что искусство реальной жизни и жизнь искусству неумело подражает, долго пытался выяснить, где у Латынина начинается проза и где кончаются стихи. И пришел к ответу, что искать эту границу аморально: так же аморально, как читать прозу поэта, игнорируя его стихи, – чем известная часть критиков, писавших о Латынине, изрядно согрешила. Один из весьма острых людей оговорился как-то, что «Латынин всё меньше чувствует себя стихотворцем». Вынужден процитировать бессмертную реплику Фагота-Коровьева – «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» Латынинская проза его же поэзию никак не упразднила: каждый писатель, променявший по особенностям своего дарования поэзию на прозу, вздохнет и Латынину позавидует. Есть предметы, о которых можно говорить и так, и эдак, и стихами, и прозой. Только не каждому писателю дано точно знать – когда именно и как. Латынину, кажется, это дано: остается удивляться и завидовать.

О творящемся между двух зеркал колдовстве сколько уж написано и стихов, и прозы. Наверное, последователю Георгия Иванова, с его «Друг друга отражают зеркала, / Взаимно искажая отраженья» было этой темы не миновать. Но у Георгия Иванова дальше этой констатации дело не идет, дальше он всегда говорит о совсем другом и отчасти постороннем (о добре, зле, поражении и тому подобных вещах, говорить о

которых и принято, и традиционно). Но Латынин разместил друг против друга два *кривых* зеркала: «Кривое слева и кривое справа», между зеркал же обнаружился стакан невыпитого чая, несколько созвездий, ну, и еще кое-что. Это его собственный мир, и вход в него затруднен, о чем писал Евтушенко. Но истинная поэзия никак не проходной двор, и самый трудный вход в ней тот, на который семь столетий назад набрел флорентинский изгнанник, чье имя, как и Господне, не следует поминать всуе. Между тем этот мир имеет несколько довольно близких к нему, как нынче говорят, «параллельных», и я совсем не уверен, что *мироформист* (спасибо Роджеру Желязны и его переводчикам – есть чем заменить претенциозное слово «демиург») Латынин об этих родственных мирах особо задумывается. Говорю я прежде всего о главном среди зарубежных русских учеников Георгия Иванова – об Игоре Чиннове, подарившем мне полтора десятилетия дружбы и переписки, завещавшем мне свою личную библиотеку русской поэзии. Именно с его поздними стихами восьмидесятых годов сближаются стихи Латынина, – то ли случайно, то ли совсем не случайно написанные в восьмидесятые годы. «Заблудившихся аргонавтов» (выражение еще одного эмигрантского классика – Валерия Перелешина) в эти годы стала как-то неожиданно сводить центробежная сила искусства – если не всегда под переплеты одних антологий, то на общую книжную полку, уж на одну-то точно, на мою собственную. И смешиваются в памяти хорей Латынина и Чиннова, к приведенным выше двустушиям цепляется: «На обугленной стене <...> темный дым и тень в окне», «Если выйдем из тюрьмы, / То рассказ напишем мы», «Знаешь, я почти забыл <...> Мокрый мостик без перил» – память, переполненная стихами, подсказывает, что голоса-то у поэтов разные, разный жизненный опыт, судьба и взгляды – но общего все-таки очень много: отнюдь не один лишь заколдованный ре-минорный хорей, и не один лишь анненковский портрет Георгия Иванова вместо закладки между двумя любыми любимыми страницами. Общее – то место, где миры соприкасаются, где можно перешагнуть из одного мира в другой. Это уже само по себе, кстати, чудо. Наверное, если покопаться в памяти, то отыщется и еще один-два астероида со сходным микроклиматом. Но на *пояс астероидов* не наберется. Просто у величайших планет, судя по Солнечной системе, непременно есть спутники. Именно в Космосе – который сам по себе символ одиночества – происходит то же самое, что в литературе, и то ли дух человеческий проецирует в себя мироздание, то ли как раз наоборот.

Лампадка (все же, наверное, свеча) Серебряного века оказалась в поэзии тем огоньком, которого хватило русскому искусству на всю долгую полночь XX века. Латынин часто говорит об эмиграции как об *иммиграции*, откровенно заявляя о себе как о внутреннем эмигранте, – по крайней мере в поэзии. Причем именно в стихах, опубликованных в советские годы и в СССР, это было совершенно ясно видно. Будь наша цензура покультурней, она бы этих стихов в печать не пропустила. Но культурная цензура – оксюморон, жареная вода. Цензура, конечно, закручивала гайки, но знать не знала, что нарезка давно сорвана, и усилия пропадают впустую: *поэт* не может быть учеником *Лебедева-Кумача*.

Впрочем, называть Латынина впрямую учеником Георгия Иванова я бы не рискнул, разве что в том высоком значении слова «ученик», которое нынче почти вовсе забыто, в

котором исключено понятие «подражатель». О последних остроумно сказал Сальвадор Дали – «Блаженны подражатели – им достанутся наши недостатки». Наплодившееся в поколении девяностых годов племя подражателей эмигрантских поэтических школ (вплоть до прямой имитации парижской ноты или казачьей поэзии, существовавшей в советское время тоже только в эмиграции) получили в наследство преимущественно то, что им посулил гений сюрреализма. Не хочу называть их по именам, многие давно этими недостатками переболели, да и называет кое-кто из них в числе своих учителей и меня, и Латынина. С учениками кумиров – уж и совсем беда, эти просто заняты копированием недостатков, этакой хоровой декламацией. Но к счастью, этой болезнью семидесятники воя время переболели.

«Оговорка по Фрейду» – на Западе считается, что это русское выражение. Кого это я назвал семидесятниками, такого и понятия-то в литературоведении нет! Нет, но... будет. Кого объединят под этим ярлыком литературоведы грядущего – понятия не имею, и строить предположения боюсь. Алдановский Пьер Ламор говорил: «Нет суда истории, есть суд историков, а он меняется каждое десятилетие». И в литературоведении то же самое, о чем уже было сказано. Однако выйти за пределы своего времени никому из поэтов, писателей, художников не дано. Даже не вполне порою законная грамматика Латынина, загадочные управления слов и не столь уж редкие амфиболии несут на себе его авторское клеймо.

«Я с вами проститься едва ли успею...» написал один поэт, а другой много лет спустя обронил – «Мы с вами сойдемся, мой милый, едва ли...»: похоже-то похоже, да только ничего общего. Первый поэт, эмигрант второй волны Иван Елагин, конструировал свой мир чисто театрально, меняя декорации и кулисы, второй – Леонид Латынин, эмигрант разве что внутренний, менее всего заботится о подмостках. У людей с одинаковым цветом кожи и глаз могут не совпадать группы крови. Они и не совпадают: поверьте мне, двухтомного Елагина я составил и издал практически без посторонней помощи, Латынина прочитал не столь полно, но честное слово – весьма основательно.

В 1974 году Леонида Латынина приняли в Союз Советских писателей, – было ему тогда 36 лет. Смешно нынче вспоминать об этом – в те времена это была спасающая от обвинения в тунеядстве лазейка. Девять лет спустя туда же приняли меня (мне та же лазейка требовалась, все под одним богом – с маленькой буквы – ходили). Что это нынче означает? Пожалуй, только то, что мы, дышавшие воздухом эмиграции, всерьез решили никуда не ехать. Семидесятые годы стали временем возникновения третьей волны русской эмиграции, – факт из нынешнего школьного учебника. Вот и получается еще один оксюморон-страшилка: оба мы... эмигрировали в Союз Писателей. Где-то он теперь? Взносы мы куда-то какие-то платим, но даже с круглыми датами никто из этой организации не поздравляет. По крайней мере нынче ясно, что к поэзии факт вступления в ССП – в исторической перспективе – не имеет отношения никакого. Можно бы и вовсе забыть об этом. Но есть биография «Родился... учился... женат, дети, внуки...» Хорошо бы вовсе про этот «Союз Писателей» забыть. Однако это та самая «песня», из которой никак не выкидывается ни слова. Даже если песня плохая, а слово такое, что в приличном обществе его не вымолвишь.

Нечего нам жаловаться: если мы не дожили до демократии (и не уверен, что доживать до нее я хочу), то до свободы мы дожили. До свободы писать, что хочется, издавать без единого цензурного искажения (так, что и опечаток не исправляют), и даже до свободы, которую вправе применить к нам читатель: он вправе нас не читать, – хотя кто-то же раскупает нынешние не очень тиражные наши книги, этот факт никаким конем не объедешь, как по другому поводу говорил Иван Елагин.

Ну и ладно. На худой конец я точно знаю, что меня читает Леонид Латынин. А я читаю Леонида Латынина. И – нечего прибедняться – у каждого из нас, и не только у нас – сотня читателей наберется. И нет у нас времени горевать над крахом русской культуры: во первых, нет никакого краха, во вторых – нам еще много чего написать надо – до того дня, когда окончательно догорят наши лампы. Но и тот день будет только очередной датой в биографии, а никак не концом всего: на то воля Божья.